Юрий Белк

Жизнь на отказе

Ночь

Психолог · Физик ·
Ветеран боевых действий

Не сдавайся

Юрий Белк

Жизнь на отказе. Ночь

«Автор»
2026

Белк Ю.

Жизнь на отказе. Ночь / Ю. Белк — «Автор», 2026

Аркадий — слепой сантехник. Он не «особенный человек» и не герой трагедии — просто мужчина 57 лет, живущий один в панельной пятиэтажке и удерживающийся на поверхности ритуалами: кофе, сваренный по звуку, трамвай 4, список дел на утро, который он произносит про себя, пока есть день.Каждое действие, которое для вас не стоит ничего, — проснуться, собраться, дойти, вернуться, — для него работа длиной в жизнь. А сегодня у него обычный день: приём у офтальмолога, которого он откладывает до последнего числа, обед с другом, починенный соседский приёмник и звонок дочери, которая полтора года не разговаривает с отцом.«Жизнь на отказе: ночь» — социальная проза, не знающая ни жалости, ни «вдохновляющей интонации». Это книга о том, из чего собирается достоинство, когда всё остальное отказало: из кофе, трости, дружбы и тихого упрямства — каждый день отказываться сдаваться, не произнося этого вслух. И о том, что падает не тот, кто ослеп, а тот, кто потерял свои опоры.

© Белк Ю., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. 04:47. Руки 5
Глава 2. 05:12. Кофе 9
Глава 3. 06:20. Собраться 11
Глава 4. 07:40. Трость 13
Конец ознакомительного фрагмента. 14

Юрий Белк
Жизнь на отказе. Ночь

Глава 1. 04:47. Руки

Будильник должен был зазвонить в 5:17. Аркадий проснулся в 4:47 — как всегда, за полчаса раньше, — и первую секунду лежал неподвижно, слушая, кто он сегодня такой.

Это не фигура речи. Это процедура.

Он растопырил пальцы правой руки и медленно провёл ими по одеялу — до края, до самой кромки. Пальцы уперлись в край. Значит, правая рука лежала вдоль тела, а не через грудь. Левую руку он поднял — она повисла свободно, ни во что не упираясь, свисая с кровати. Левая свисает, правая на одеяле. Значит, всю ночь он спал на правом боку, сползая к левому краю, как сползал тридцать лет подряд, и Люба всегда говорила: «Ты не спишь, ты падаешь, и я тебя ловлю». Некому теперь ловить. Матрас у левого края продавлен до такой степени, что пружины давно бы пожаловались, если бы умели.

Так лежал правый бок и свисала левая рука — значит, день начался хорошо. Ночью не свело икру, не прижало плечо, не случилось того полуобморочного путешествия в прошлое, которое приходит в тяжёлые ночи и из которого он выходит с сухим горлом и с ощущением, что кто-то стоял над кроватью и ждал, когда проснётся.

Он полежал ещё минуту и начал слушать квартиру.

Квартира — это большой орган, у которого он выучил все трубы. Холодильник гудел ровным низким звуком, без щелчков и дёрганий, — значит, свет не отключали, значит, счётчик накрутил положенное и задолженности нет. Трубы шумели — не тихо, не разговорчиво, а ровно, с этим октябрьским гулом, когда в доме запустили отопление и вода идёт по стоякам, как кровь по сосудам старого организма. Значит, батареи включили. Значит, реально октябрь, а не затянувшийся сентябрь — тело иногда путалось в сезонах, а трубы не путались никогда.

За окном была тишина. Но тишина бывает разная, и Аркадий различал её «походку», как различают шаги знакомого человека в подъезде — не видя, а по звуку каблуков. Сейчас тишина лежала тяжело, глубоко, без единого моторного звука в нижнем регистре — значит, ни одной машины на стоянке ещё не завели. Люди в его дворе вставали в шесть, к половине седьмого двор уже оживал: первая машина, потом вторая, потом лифт заработает внизу. Значит — рано. До всего ещё далеко.

Рано. Это слово он любил. «Рано» — это когда ничего нельзя и ничего не надо. Когда можно просто лежать и быть.

Он лежал ещё минуты три, наверное. Потом сделал то, что делал каждое утро двадцать два года подряд, — произнёс про себя список дня.

Список начинался всегда с одного и того же слова, не по правилу, а просто так вышло: «сегодня». Сегодня — кофе. Сегодня — собрать сумку. Сегодня — приёмник: Ирин «ВЭФ» — Ира принесла его вчера, лежит на кухонном столе. Сегодня — поликлиника, в три. Поликлиника — это отдельно, об этом список сказал только два слова и пошёл дальше, потому что если в списке задержаться на слове «поликлиника», то список кончится, а день ещё нет.

Сегодня — дождь. Дождь не в списке, дождь в погоде, но он его уже слышал: не сейчас, сейчас тихо, но где-то на западе, далеко, воздух держал эту тяжесть — он не умел объяснить, как воздух держит дождь, но держал, весь октябрьский воздух был пропитан этим обещанием, как бельё — запахом чужого порошка.

Список кончился словом «поликлиника», сказанным дважды, — так всегда кончались списки в последние двадцать два года, и он знал, что это не страх и не трусость. Это просто цена. Раз в год — цена.

Пока в списке есть сегодня — есть и день. Он придумал это не сам; это было у Сени, у слепого с рождения, который как-то за обедом сказал: «Ты, Аркаша, живёшь списками. Я вот живу вопросами». Аркадий тогда не согласился и не спорил. Сеня жил вопросами, потому что у него никогда не было зрения, чтобы что-то потерять, а значит, нечего было удерживать списком. Аркадию было что удерживать.

Он встал.

Вставание — это тоже наука, которой никто не учит. Встать в тёмной комнате — у него не «тёмной», у него во всех комнатах одинаково, — это не толкнуться вверх, а сначала сесть, потом опереться ладонями о край кровати, потом поднять себя не спиной, а руками, как поднимают груз, чтобы не потянуть поясницу. В пояснице с прошлого года было то самое, о чём хирург сказал «возрастное» и которое Аркадий обозвал «хрящевой бунт» и носил в себе, как носят занозу — с ней живут, её не выковыриваешь.

Пять шагов до стены. Правая рука — стена, ладонь легла на обои — шершавые, старые, он их знал на ощупь лучше, чем любые лица. Второй шаг — дверной косяк, нащупал плечом. Третий и четвёртый — коридор, где слева мебель, которую он обходит бедром, не задевая. Пятый — ванная, где тёплым дыханием пахнет из канализации и где стоит его мир в миниатюре: раковина, зеркальный шкаф, полотенце на левом крючке.

Зеркальный шкаф он не открывал лет пять. Не из суеверия: просто зеркала для него перестали быть стёклами — они ничего не отражали. Он помнил своё лицо, как помнят фотографию: тридцатипятилетний мужчина в резиновой форме сантехника, с фонариком в зубах, смотрит в ванной в зеркало и ругается на протечку в стояке. Это лицо он носил двадцать два года. Нового не было. Может, и не надо.

Он умылся — холодная вода, три раза, как учила когда-то Люба: «На холодной лицо живое, на тёплой — варёное». Вытерся тем полотенцем, которое узнал по ворсу. Полотенца у него были как у зрячих — разные, но он их различал: на левом крючке — жёсткое, для рук, на среднем — мягкое, старое, стиранное столько раз, что оно стало как кожа. Люба купила его тридцать лет назад. Оно держалось.

Потом он сделал то, что делал каждое утро, и что было не гигиеной, а ритуалом: открыл кран не полностью — на треть, — подставил ладонь под тонкую струю и слушал.

Кран на кухне у него разговаривал. Кран в ванной — молчал. А этот, в ванной, если открыть его на треть, издавал звук тонкий, высокий, почти свист — и Аркадий, держа ладонь под струёй, думал не о воде, а о том, что когда-то, тридцать лет назад, он приполз с работы в девять вечера, весь в известке, и Люба сказала: «опять ты этот кран крутишь». Он тогда говорил: «Люсь, я сантехник. Я его не кручу, я его слушаю». Теперь он слушал его каждый день. Один.

Он выключил воду — движение пальцев было точным, отточенным, как у сапёра. Вода — это стихия, с которой у сантехника свои, давние, почти семейные отношения. Ты её не боишься, ты с ней договариваешься. Ты знаешь, где она рвётся, где лежит, где молчит в трубах и ждёт. Двадцать два года он не касался труб, но договариваться с водой не разучился.

Он прошёл на кухню. Там было шесть шагов — он считал не шагами, а «отскоками» трости — трость жила не в руке, а у стены у кровати, и по квартире он ходил без неё, как по своей комнате, — и на четвёртом шаге его нога коснулась стула, повёрнутого не туда.

Стул был повёрнут спинкой к столу. Не боком, а спинкой. Это значило, что кто-то двигал его кухню.

Кто-то — это была Тома. Тома приходила во вторник и в четверг, убирала, мыла пол, меняла бельё, а иногда — не со зла, а по доброте, которая не думает, — расставляла вещи по-

своему. Стулья она поворачивала «правильно», спинками к стене, потому что так было красивее и логичнее. Она не знала, что для Аркадия стул — это стена, а спинка стула — это коридор, который закрывается. Для него каждое передвинутое на десять сантиметров кресло было как для зрячего — перевёрнутая картина на стене: вроде то же, а выглядит чужой квартирой.

Он переставил стул. Медленно, одной рукой, придерживая стол, — движением, которое было не раздражением, а возвратом мира на место. Мир у него был не большой — маленький, сорок два квадратных метра, — но в этом маленьком мире каждый сантиметр был подписан его именем.

Тома придёт завтра. Или сегодня? Нет, сегодня пятница. Сегодня она не придёт, сегодня она приходила вчера — и вчера переставила стул. Значит, завтра он ей скажет — не скажет, он никогда ей не говорил «не трогайте мои стулья», он говорил: «Том, если вам не тяжело, оставляйте, пожалуйста, стулья, как было». А она говорила «хорошо, Аркадий Иванович» — и в следующий вторник стул снова был повёрнут спинкой. Он переставлял снова. Это была их небольшая, тихая, никем не замечаемая война — его и Томы, — которую они вели уже шесть лет и в которой не было победителей, потому что оба дрались не друг с другом, а со временем: она — с порядком, который хотела навести, он — с порядком, который сам построил.

Он достал турку из нижнего шкафа — турка была на четвёртой полке слева, между ситом и чайником, и он помнил её по весу и по форме ручки: тяжёлая, медная, Люба привезла её из Сочи в девяносто восьмом. Он насыпал кофе — на глаз, то есть на счёт: три столовые ложки, он отсчитывал их по звуку, с которым ложка стучала по краю банки. Три удара — третьей ложки не было, был лишь звук её падения в турку, глухой и медленный, и на этом звук-счёт заканчивался.

Он поставил турку на плиту и включил огонь. Потом ждал.

Ждать — это то, чего у слепого в избытке, и это не беда, это устройство его дня. Ждёт чайник — ждёт. Ждёт трамвай — ждёт. Ждёт врача — ждёт. Ждёт дочь — ждёт. Вся его жизнь теперь была ожиданием, но он это ожидание выучил, как выучивают дорогу: не тяготился им, а жил внутри него, как рыба в воде.

Кофе начинал шипеть — тонко, на грани слышимости, как шёпот. Аркадий наклонился к турке. Шипение — это вода, которая думает. Потом шипение перейдёт в шёпот. Потом в клокот. Потом — в тот самый момент, который нельзя пропустить, — в подъём пены, и пена поднимается всегда на один и тот же счёт: «раз-два-три-и-чуть-чуть».

Он снял турку в «чуть-чуть». Налил в чашку — по звуку: тонкая струя о дно чашки давала один звук, о стенки — другой, а когда чашка была полна на две трети, звук менялся, и он прекращал наливать по звуку, а не по зрению. Чашка была белая, с трещиной по кромке, та самая, с которой Люба пила каждое утро, — он пользовался ею до сих пор, не из ностальгии, а потому что она его чашка.

Он сел за стол.

И — впервые за много недель — сказал вслух — пустой кухне, с чашкой в руке: «Садись, остынет».

Слова вышли до того естественно, что он замер с чашкой у губ. Не от испуга пустой кухни. От испуга того, как легко это прозвучало. Как будто она только что отошла в коридор. Как будто она здесь — просто не отвечает, потому что слушает своё радио в комнате, как слушала тридцать лет, и не хочет вставать.

Он допил кофе. Медленно, по глотку, каждый глоток — отдельный. За окном всё ещё было тихо, но тишина уже поменяла походку: где-то на другом конце двора хлопнула дверь подъезда, потом вторая, — значит, первый жилец спустился. День начинался.

Он сидел ещё пять минут и думал не о кофе, не о Любе, не о поликлинике и не об Ане, а о том, что сегодня ему надо успеть. Не к врачу — врач никуда не денется, врач будет всегда, врач — это константа, как трубы и как счётчик. Ему надо было успеть разобрать приёмник,

дойти до трамвая, доехать до поликлиники, вернуться, дойти до Иры с шифоньером — или передумать и отложить шифоньер, а Ира расстроится, а он не любит, когда расстраивается Ира, потому что Ира — это та женщина, которая держит его на этом этаже, в этом доме, на этой земле, не словами, а тем, что каждое утро слышит его шаги и каждую неделю оставляет у его двери что-то вкусное, о чём он просит её не делать, а она делает.

И надо было позвонить Ане.

Ане он не звонил полтора года. Это не была ссора — это было молчание, которое выросло, как сорняк: нечаянно, тихо, под дождём, без злого умысла, и теперь оно выросло таким, что вырывать его было страшно — вместе с корнями уйдёт что-то живое.

Он об этом не думал. Он об этом не думал уже полтора года — не потому, что не хотел, а потому что думать об этом было всё равно что смотреть в зеркало: он умел это не делать.

Чашка опустела. За окном, наконец, прогудела первая машина — коротко, невнятно, заводя двигатель в холодном октябре. Потом вторая. Потом лифт внизу сделал первый рейс — гудение поднималось по шахте, как лифт поднимает не людей, а утро.

Аркадий вымыл чашку — тёплой водой, по кругу, по звуку, — вытер её и поставил на место: правый угол стола, ручкой к стене. Он встал, вернулся в комнату, взял трость, прислонённую к стене, сжал её в правой руке — холодную, знакомую, с той маленькой выемкой, которую он сам протёр на пластике за двадцать лет хватки.

Он стоял посреди комнаты и слушал день, который начинался.

Квартира гудела. Трубы шумели. Двор оживал. Где-то далеко, за окном, уже поднималось это октябрьское утро — серое, с обещанием дождя, с поликлиникой в три часа и с приёмником на кухонном столе.

«Сегодня», — сказал он про себя. И это «сегодня» было не просто словом. Это был ключ, который открывал день.

Глава 2. 05:12. Кофе

Первую чашку он выпил для тела. Вторую заваривал для Любы.

Так это было устроено двадцать два года, с той самой осени, когда он вернулся из больницы и понял, что не знает, зачем вставать по утрам. Тело вставало само — тело вообще было дисциплинированнее его самого, — но между «встал» и «зачем» зияла дыра, и Люба, не произнося ни слова о дыре, заткнула её кофе. «У тебя всегда был кофе по утрам, — сказала она тогда. — Просто раньше ты его пил, а теперь будешь варить. Варить труднее. Труднее — значит, дольше. Дольше — значит, есть зачем вставать».

Он не понял её тогда. Понял через год, когда понял всё остальное.

Кофе, сваренный для себя, он пил стоя, у окна, глотками, не думая. Кофе, сваренный для Любы, он пил сидя, за столом, в белой чашке с трещиной по кромке, — и на это уходило ровно тридцать минут. Не двадцать пять и не сорок: тридцать. Он не ставил таймер, но внутренние часы держали эти тридцать минут так же точно, как держали пробуждение в 4:47. Тридцать минут — это было время, которое Люба каждое утро сидела на кухне, пока он собирался на работу. Тридцать минут, за которые она успевала сказать всё, что не было сказано за вечер, и ничего из того, что не надо было говорить. Он не занимал это время воспоминаниями — воспоминания приходили сами, без приглашения, как соседи. Он занимал его тем, что пил кофе и слушал, как пьёт кофе его память.

Турка была на плите уже во второй раз. Медная, с покорёженной ручкой — ручку погнуло в девяносто восьмом, в Сочи, когда Люба уронила чемодан на ступеньку вокзала, и турка оказалась в самом низу. Он тогда хотел отнести её в мастерскую и выпрямить ручку, а Люба сказала: «не трогай, у неё теперь характер». С тех пор ручка была кривая, а кофе — правильный. Он иногда думал, что вся посуда в доме держится на характерах: чашка — на трещине, турка — на погнутой ручке, а он — на чём? На этом же, наверное. На трещине, которая не мешает, а держит.

Воду он наливал не из-под крана. В их водопроводной воде был привкус — не плохой, просто чужой, — и Люба когда-то завела канистру с фильтром, а он после слепоты довёл это до системы: фильтр стоял на подоконнике, канистра — слева от него, и он отмерял воду не стаканом, а временем струи — «раз-два» — потому что стакан приходилось искать, а струя всегда была под рукой. Сантехник в нём просыпался на каждом шагу и не считал это работой. Вода была его старой сослуживицей. Он знал её характер: как она свистит в сужении трубы, как ворчит в радиаторе, как молчит, обидевшись, в перемёрзшем стояке. Кофе он варил не на воде, а на этом знании.

Пламя под туркой он держал ниже среднего — «турка любит медленное утро», тоже слова Любы, тоже из того года, когда он учился варить заново. Учиться варить кофе вслепую — это отдельный университет. Первые месяцы он проливал мимо чашки, обжигал пальцы, насыпал то гору, то яму. Люба придумала главный приём: считать. Не вслух — про себя, по звуку. Пена поднимается всегда на один и тот же счёт: «раз-два-три-и-чуть-чуть». На «раз» вода только начинает шипеть — тонко, неуверенно. На «два» шипение становится шёпотом, плотным, человеческим. На «три» шёпот переходит в клокот, и это последний момент, когда можно ещё медлить. А «чуть-чуть» — это когда пена поднимается к краю и вот-вот побежит через край, — снимай. Он снимал турку всегда в «чуть-чуть». За двадцать два года не промахнулся дважды.

Он налил вторую чашку. По звуку: струя бьёт о дно — пусто, о стенки — набирается, а когда звук глохнет, значит, две трети, хватит. Чашку он взял за то место, где трещина, — трещина была его метка, как насечка на рукоятке ножа.

И сел.

За окном двор просыпался неохотно, с сопением. Кто-то хлопнул дверцей машины. Кто-то пробежал под окнами — не бежал, а семенил, маленькие шаги, женщина с сумкой, в храм, наверное, или с дежурства. Тополь у второго подъезда шуршал вполсилы: ветер ещё лежал, но уже повернулся на бок.

Свет на кухне не горел. Ему и не нужен был свет, но он, как всегда, не включил его и по другой причине: при свете Люба выглядела так, как выглядела, а в темноте — так, как он её помнил. Сознательно ли он выбрал жить в темноте? Нет. Он просто не включал свет, потому что не видел его. А то, что в неосвещённой кухне Люба молодела с каждым годом, — это уже не он устраивал. Это устраивало само время, единственный раз, когда время было к нему милосердно.

Он вспомнил сегодня — не выбирал, пришло — как она делала кофе для гостей. Она не умела варить кофе. Тридцать лет брака — и не умела: пересыпала, передерживала, подавала в кружках. Гости пили и хвалили. А он после её кофе всегда молча ставил турку заново и варил правильный, и она сидела напротив и говорила: «ну вот, а я как дурак старалась». И он отвечал: «ты не дурак, ты у меня старательная». И она кидала в него скатертью — не кидая, поправляя её, — и это было их «люблю», произнесённое на языке, который они не переводили никому и никогда.

Аня в этом языке не выросла. Аня росла в городе, где кофе делают машины, а «люблю» говорят прямо — и если не говорят, то это ничего не значит, просто не говорят. Аркадий не винил дочь. Он вообще мало что в этом мире винил, хотя повод был. Он просто однажды заметил, что с Аней они говорят на разных языках, — не потому, что она не хочет учить его язык, а потому что её язык был проще и честнее, и на нём было невозможно жить с молчанием в полтора года. На её языке молчание — это значит «всё кончено». На его языке молчание — это значит «мне тяжело, но я ещё здесь». Никто из них не перевёл друг другу эту разницу.

Он допил вторую чашку до половины и услышал в комнате, в глубине квартиры, как ожил приёмник.

Нет. Приёмник не «ожил» — он сам его не включал. Это был его собственный приёмник, тот, что на подоконнике в комнате, и он вспомнил: вчера вечером, перед сном, он нажал кнопку таймера — по привычке, которая жила в пальцах сильнее, чем в голове. Приёмник включится в шесть. Значит, без четверти шесть. Значит, время разобрать Ирин «ВЭФ» — до обеда успеет, поликлиника в три, всё по списку.

Он допил кофе. Поставил чашку в правый угол стола, ручкой к стене, и вытер стол — ладонью, движением слева направо, проверяя, нет ли крошек. На столе лежала крупица сахара — одна, он насыпал ложку неровно, — он собрал её подушечкой пальца и сунул в рот. Сахар на пальце был тёплый от чашки. Мелочь. Но утро состояло из мелочей, как стена — из кирпичей: вынь один — стена держит, вынь три — и где-нибудь в углу покажется трещина.

Тридцать минут кончились. Они всегда кончались одинаково: не звуком, а выдохом. Он выдохнул, отодвинул чашку, сказал — не вслух, в себе, но сегодня почти шевелил губами: «всё, Люба. Иду».

Это не был разговор с умершей. Люба умерла три года назад, а её тридцать утренних минут никуда не делись — они просто остались в расписании, как остаётся след на ковре, где двадцать лет стояло кресло. Он не говорил с ней. Он отмечал время по ней — так отмечают время не по часам, а по тому, что было.

Глава 3. 06:20. Собраться

В прихожей у него был гардероб. Но называть это гардеробом было всё равно что называть библиотекой шкаф с книгами — формально верно, а по сути, не передаёт ничего.

Пальто висело на дальнем крючке слева. Он знал его по весу — не по тому, сколько весило пальто, а по тому, как качался крючок, когда его пальцы находили вешалку: пальто качалось медленно, с тяжёлой солидностью, как качается человек, который знает, что никуда не спешит. Осенью оно висело первым, зимнее — за ним, на запасном крючке, который Люба когда-то прикрутила «на всякий случай». Случай не наступил. Пальто ждало.

Осеннее пальто было тёмное, спортивного покроя — он не знал, какого оно цвета. Цвет ушёл из его жизни двадцать два года назад и оставил после себя фактуры: пальто было гладкое, с чуть тёплым подкладом, молния шла справа и на третьем зубе имела заусенец, который он не починил, потому что заусенец был меткой — пальцы находили его и понимали: да, это то пальто, правая молния, заусенец на третьем. Чужое пальто такой молнии не имело. Однажды в поликлинике, в раздевалке, он снял с крючка не своё пальто — одинаковое на ощупь, — и уже на улице понял, что молния идёт слева. Он тогда вернулся, искал своё, нашёл по единственному признаку: на его, на левом кармане, изнутри, была пришита пуговица — Люба пришивала её тридцать лет назад, когда оторвалась подкладка, и сказала: «на память, если ослепнешь, будешь меня нащупывать». Она пошутила. Он не забыл.

Свитер он выбрал не по цвету — по грубости. Утро было обещать дождь, а дождь в октябре — это сырость, а сырость — это шерсть. Шерсть он отличал от акрила с закрытыми глазами — так, как винодел отличает год урожая: акрил скользил между пальцами и холодил, шерсть цеплялась и жила. Шерстяной свитер был из тех, что Люба купила ему на день рождения в прошлом веке, и он, несмотря на все стирки, держал запах — не запаха, а памяти о запахе: осязание помнило то, чего уже не нюхало.

Брюки — по ширине пояса. Ремень — по пряжке: пряжка была стёртая, латунная, и он находил её язычком слева. Носки — по резинке: три пары лежали в ящике справа, и он держал их парно, скрученными попарно, — это была целая система, над которой он работал двадцать два года: тёмные к тёмным, тёплые к тёплым. Раз в полгода система давала сбой, и он обнаруживал, что у него пять носков и ни одной пары, — и тогда он садился на пол и разбирал их, как сапёр, и всегда, всегда среди них находился один носок, который пропадал никуда, — и он никогда не узнавал, куда. Он подозревал, что носки — единственные существа в квартире, которые умеют исчезать.

Света в прихожей не было. То есть лампочка была, и выключатель был — на правой стене, у двери, — но он не включал его, потому что свет ему ничего не давал. Он включал его не для себя. Он включал его для других: для соседей, если зайдут; для соцзащиты, если придут; для Томы, чтобы она не спотыкалась в его темноте. «Вы включаете свет, Аркадий Иванович?» — спросила она однажды. «Конечно, — сказал он. — Какой же я без света». Она не поняла, шутит он или нет. Он не объяснил.

Дальше был карман.

Карман куртки — это его сумка, его портфель, его аптечка, его канцелярия. Всё, что уходило с ним из квартиры, было разложено в кармане не как попало, а как в шкафу у хирурга: по полкам, по назначению, по памяти. Справа, в дальнем углу, — связка ключей, пять штук, и каждая имела своё имя по бородке: ключ от квартиры — самый тяжёлый, с пластмассовой «бабочкой», которую он сам напильником сделал шершавой; ключ от подъезда — лёгкий, пустотелый; ключ от почтового ящика — маленький, с риской на голове, потому что два года назад он перепутал его с ключом от подвала и вскрыл чужой ящик, — тот самый, знаменитый в доме случай, о котором Ира потом два года рассказывала как анекдот. Слева, ближе к телу,

— трость — сложенная, пока он в помещении; деньги — в маленьком кожаном кошельке, разложенные по номиналу, ребром к краю: сотни к сотням, полтысячи отдельно, и отдельный кармашек — для мелочи, которую он называл «звонкими», потому что она звенела и этим отличалась от бумажных. Деньги по номиналу — это была не привычка, а броня: в трамвае, в буфете, в поликлинике он подавал только те купюры, которые знал на ощупь. Тысячу ему однажды вручили как сотню — и он пересчитал только дома, на ощупь, и не стал никому звонить. Просто перестал верить тем купюрам, которые не проверил, и выучил ребристый край пятирублёвой монеты, как выучивают лицо.

Ещё в кармане лежал проездной — пластик, с потёртой фотографией, на которой он был ещё зрячим, тридцатипятилетним, и не улыбался. Он не знал, что на фото он не улыбается, — Аня сказала лет десять назад: «пап, у тебя на проездном такое лицо, будто ты отчитываешь за подъезд». Он хмыкнул. Проездной он брал не для трамвая — для поликлиники: в регистратуре его просили «документ», и он подавал проездной, потому что паспорт он находил на ощупь за минуту, а проездной — за секунду, и он лежал всегда в одном месте, и его не надо было искать.

И телефон. Телефон был последним предметом кармана и первым по важности: маленький, с двумя кнопками на торце, не смартфон — он смартфон не вынес бы. Экран был для него чёрный и бесполезный; он звонил по памяти, набирая номера вслепую, и знал на ощупь, где верх, где низ, где кнопка «плюс», где «зелёная». Сообщения он не умел — голосовой набор научил его Сеня, три года показывал, трижды в неделю, пока не получилось, — и теперь, когда он хотел сказать что-то короткое, он нажимал кнопку и говорил. Он не любил говорить в телефон вслух при людях. Получалось, что он говорил с пустотой, а пустота слышала.

Он оделся. Одеться вслепую — это тоже наука, но эта наука давно перешла из головы в руки: голова в эти минуты думала о поликлинике, о приёмнике Иры, о том, что надо успеть до дождя, а руки работали сами — молния, заусенец, ремень, пряжка, шерсть, грубая, добрая. Он оделся за четыре минуты. Когда-то, в первый год, он одевался сорок. Люба тогда стояла в дверях и молча смотрела. Однажды она не выдержала: «может, помочь?» — и он сказал «нет» — и это «нет» было первое «нет» их новой жизни, и она его услышала, и больше не предлагала. Она только после этого научилась молчать так, чтобы это молчание помогало.

Он собрал сумку — маленькую, тканевую, на плече, с широким ремнём, чтобы не резал. В сумку — приёмник? Нет. Приёмник дома, на кухонном столе: Ира принесла его вчера, заберёт вечером, когда оживёт. В сумку — инструменты: пассатижи маленькие, отвёртку крестовую, изоленту, моток которой был на ощупь липкий от старости, и канифоль — нет, канифоль нужна была дома, канифоль он купил ещё в пятницу, лежала на полке, он вспомнил это с облегчением: полка была его внешняя память, и полка не подводила никогда — подводила голова, а полка нет.

В дверь. Ключ — «бабочка», поворот вправо, два оборота, щёлк. Он вышел в подъезд и закрыл дверь.

И только на второй ступеньке вспомнил: шифоньер. Ирин шифоньер. Он обещал разобрать и собрать его сегодня вечером — а может, до поликлиники? Нет, до поликлиники нельзя: после поликлиники он всегда возвращается молча и не разговаривает час, это цена, он её знает. Шифоньер — вечером. Он повторил это про себя два раза, как повторяют кодовое слово: шифоньер — вечером. Шифоньер — вечером.

И спустился во двор, где октябрьское утро уже поднималось над тополями, невидимое для него, но слышимое: вороны спорили на макушке тополя, машина у третьего подъезда прогревалась в четвёртый раз — значит, хозяйка никак не соберётся, — и где-то далеко, на западе, воздух всё ещё держал обещание дождя, как держат обещание: тихо, не нарушая.

Глава 4. 07:40. Трость

Лестница начиналась с двери.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.